

Лингвокультурология: от констатаций к объяснительности

Linguoculturology: from Ascertaining to Explaining

Сергей Попов ¹

Sergey Popov

¹ V. N. Karazin Kharkiv National University
4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine

DOI: 10.22178/pos.33-1

LCC Subject Category:
PG2001-2826

Received 10.03.2018

Accepted 31.03.2018

Published online

10.04.2018

Corresponding Author:
s.leon.popov@gmail.com

© 2018 The Author. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



Аннотация. Статья посвящена обоснованию возможности и необходимости углубления предмета лингвокультурологии до причин существования явлений культуры, с которыми связаны определенные явления языка. Лингвокультурология, в том числе прогрессивно имеющая компаративистскую составляющую, сосредоточивает внимание на связи явлений языка с явлениями культуры, но не пытается объяснять причины существования таких культурных явлений, в то время как это помогло бы с гораздо большей степенью доказательности понимать причины специфики явлений языка, обусловленных спецификой таких культурных явлений. В статье на примерах лингвокультурологических констатаций связи языковых явлений с определенными явлениями культуры демонстрируется возможность и необходимость объяснений причин существования культурных явлений, обуславливающих специфику коррелирующих с ними явлений языка.

Ключевые слова: лингвокультурология; когниция; объяснительность; смежные науки; причинно-следственные связи.

Abstract. The article is devoted to the substantiation of the possibility and necessity of deepening the subject of linguoculturology to the causes of the existence of cultural phenomena, with which certain phenomena of language are associated. Linguoculturology, including the one progressively having a comparative component, focuses on the connection between language phenomena and cultural phenomena, but does not attempt to explain the reasons for the existence of such cultural phenomena, while this would help to understand with much greater degree of evidence the causes of the specifics of language phenomena due to the specifics of such cultural phenomena. In the article on examples of linguocultural definitions of the connection of linguistic phenomena with certain cultural phenomena, the possibility and necessity of explaining the reasons of the existence of cultural phenomena that determine the specificity of the language phenomena correlating with them is demonstrated.

Keywords: linguoculturology; cognition; explanatory; related sciences; cause-effect relations.

ВВЕДЕНИЕ

Лингвокультурология представляет собой сравнительно молодую науку, возникшую на стыке лингвистики и культурологии и изучающую связь языковых и культурных явлений [9, с. 9; 18, с. 13; 2, с. 14]. Как можно убедиться, предметом лингвокультурологии является связь языковых и культурных явлений. Такая связь рассматривается с точки

зрения ее экзистенции и фиксируется методом констатации, например: русское слово *окно* происходит от слова *око*, связь этой номинации с понятием глаза есть русская культурная особенность, коррелирующая с соответствующей особенностью русской языковой (наивной) картины мира, что отличает эти особенности от особенностей номинации этого явления в других культурах и коррели-

рующих с ними языковых (наивных) картинах мира (ср. англ. *window* и фр. *fenêtre*, где внутренние формы номинаций не связаны с понятием глаза). При этом компаративистское обращение к данным других языков в культурологических исследованиях – признак факультативный, а причины существования культурных особенностей, как правило, лингвокультурологов не интересуют.

Целью настоящей статьи является обоснование возможности и необходимости углубления предмета лингвокультурологии до причин существования явлений культуры, с которыми связаны определенные явления языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку лингвокультурология интересуется явлениями культуры, обусловленными влиянием человеческой когниции (восприятия, логики как строя мышления, внимания, памяти и т. п.), интересы этой науки пересекаются с интересами когнитивной лингвистики [18, с. 9–10; 2, с. 6], одним из ведущих принципов которой является объяснительность, а не присущая структурализму описательность: «...если лингвистика недавнего прошлого допускала лишь вопросы типа «как?» и избегала вопросов «почему?», то теперь ситуация должна коренным образом измениться: нужны именно ответы на вопросы типа «почему?», поскольку только они могут что-либо объяснить» [8, с. 25]. В самом деле, еще Аристотель говорил: «Знать, что есть, и знать, почему есть, – это различное знание...» [3, с. 280]). В. И. Абаев убедительно доказывает, что в ходе познания человек не может не искать объяснений познаваемым явлениям, и познающий языковые особенности лингвист в этом смысле не может быть исключением [1].

К сожалению, принцип объяснительности далеко не всегда применяется в когнитивно-лингвистических исследованиях, однако в лингвокультурологических исследованиях он в основном не только не реализуется, но и не упоминается. Лингвокультурологи скрупулезно выявляют соответствия между языковыми и культурными фактами, но не ставят вопрос о причинах появления таких культурных фактов, презентуя их путем обычной констатации. Между тем очевидно,

что объясненная причинно-следственными связями информация выглядит аргументационно убедительнее и усваивается лучше информации, имеющей констатирующий фактичный характер.

Причинно-следственные связи – общеизвестный объект и научного, и любого другого познания. Эти связи не всегда доступны познанию, но вопрос «почему?» такой недоступностью отмениться не может, хотя в таком случае, возможно не навсегда, остается без ответа. Так, когда астрономы обнаружили, что галактики удаляются друг от друга, они задались вопросом о причине этого явления и логично пришли к выводу, что галактики разлетаются из одного центра по причине приведшего к этому Большого Взрыва, но астрономы и представители других, смежных с астрономией наук не могут найти ответ на вопросы о причине этого взрыва и о том, что, как долго и, главное, почему происходило с Вселенной, с такими ее характеристиками, как пространство и время, до этого взрыва, что опять-таки не отменяет сами вопросы о причинах. Если после обильного снегопада в деревенский магазин не привезли хлеб, жители задаются вопросом о причине этого явления и логично приходят к заключению, что всему виной снегопад, из-за которого транспорт не может нормально передвигаться по заметенным снегом дорогам. Однако если хлеб не привезли в отсутствие снегопада, жители могут не сразу получить ответ на вопрос «почему?» или не получить его вовсе. Всегда есть явления, причины которых остаются нераскрытыми, но это не отменяет постановку вопроса «почему?», без преувеличения являющегося символом познания.

В лингвокультурологии встречаются вопросы «почему?», но не о причинах существования культурных особенностей. Например, В. А. Маслова считает, что лингвокультурология должна «дать ответы на многие вопросы, в числе которых следующие: каким видит человек мир, какова роль метафоры и символа в культуре, какова роль фразеологизмов, удерживающихся в языке веками, в репрезентации культуры, почему они так нужны человеку?» [9, с. 8]. Как можно убедиться, здесь вопрос «почему?» направлен на выяснение причины потребности человека в метафорах, символах и фразеологизмах (кстати,

узуз не первый год показывает, что фразеологизмы не «удерживаются в языке веками», по крайней мере массово: выпускники школ, как правило, не знают очень многих фразеологизмов, известных старшему поколению), а не на выяснение причин культурных особенностей, обусловивших существование метафор, символов и фразеологизмов в присутствии виде. «Интерес лингвокультурологов, – пишет С. Г. Воркачев, – фокусируется на изучении специфического в составе ментальных единиц и направлен на накопительное и систематизирующее описание отличительных признаков конкретных культурных концептов» [16, с. 43-44]. Как можно видеть, речь идет о накоплении и категоризации культурно-языковых сгустков (концептов), когда они констатируются и, как следствие, коллекционируются, но не о причинах существования культурных особенностей.

Нам представляется, что выяснение таких причин возможно с применением когнитивнолингвистического принципа междисциплинарности, утверждающего необходимость использования в лингвистических исследованиях сведений смежных с лингвистикой наук (см., например, [8, с. 20]). Выяснение причин существования культурных особенностей может быть не всегда успешным, но с позиций познания отказываться от него не следует: то, что непознаваемо сегодня, может быть познано в будущем.

Обратимся к констатируемым лингвокультурологами фактам, в том числе к таким, где констатация оформлена в виде риторического вопроса.

«Никакая абстрактная теория, – пишет В. А. Маслова, – не сможет ответить на вопрос, почему можно думать о чувстве как об огне и говорить *о пламени любви, о жаре сердец, о тепле дружбы* и т. д.» [9, с. 7]. «И действительно, почему человек думает о чувствах как об огне? Свидетельство тому – выражения типа *пламень любви, жар сердец, огонь желаний, сгорать от любви, горячая любовь, жгучая ненависть, пламя страсти, тепло дружбы, надежда теплится, испытывать теплые чувства*» [9, с. 90]. Обращение к данным смежных с лингвистикой наук, а именно к сведениям этно- и онтопсихологии об обуславливающих качество логики степенях восприятия, позволяет ответить на этот во-

прос. Таких степеней три: синкретичное, поверхностное и альтернативное восприятие. Синкретичное восприятие отличается целостностью, нерасчлененностью воспринимаемого. Поверхностное восприятие ориентируется на ближайшие, наиболее заметные или иным образом воспринимаемые признаки. Альтернативное восприятие коррелирует с возможностью осознанного выбора из имеющихся альтернатив признаков. История перцептивной эволюции человечества – в фило- и онтогенезе – это эволюция от синкретизма восприятия – через его поверхностность – к альтернативности восприятия как перцептивной норме (подробнее о степенях восприятия – см. [10, с. 5–105]). Первобытный человек думает о чувствах как об огне потому, что активностное отличие эмоционального состояния от спокойного обуславливает обращение человеческого внимания на наиболее активное проявление окружающей его действительности, частью которой он себя синкретично считает, то есть на самую сильную из четырех стихий, способную вызвать сильное ощущение вплоть до болевого, – огонь. Именно поверхностное восприятие позволяет первобытному или не очень далеко от него ушедшему по пути эволюции человеку заметить наиболее сильное, а следовательно наиболее заметное, проявление окружающих его стихий. А. А. Потебня приводит множество народных соотнесений эмоций и мнений с поверхностно воспринимаемыми в первую очередь явлениями действительности: голод, жажда, любовь, радость, гнев, обморожение кожи (как видим, не только эмоции) соотносятся народом с огнем, желание – с питьем, утолением жажды, битва – с пиром, смерть – со сном, печаль – с дорожной пылью, позитивные эмоции – со светом солнца, месяца (Луны), звезды, горе – с темной ночью, тонкая ткань – с дымом, надевание одежды – с покрывающимся листвою деревом, изобилие – с пчелиным роем, любовные связи – с уздой, власть – с веревкой и ключом [12, с. 9–15, 19, 23–27, 33, 63–66, 73–74, 81–85]. По всей видимости, продемонстрированные здесь аргументы могут считаться ответом на риторически заданный В. А. Масловой вопрос: «почему можно думать о чувстве как об огне?».

Весьма заметным в плане приближения к объяснительности является компаративист-

ское по своей сути ответвление лингвокультурологии, что, несомненно, гносеологически перспективнее лингвокультурологических исследований в рамках одного языка и связанной только с ним культуры, ведь, как хорошо известно не только в науке, все познается в сравнении.

Так, в качестве одной из задач представляемого курса лингвокультурологии В. В. Воробьев видит следующее предлагаемое в данном курсе компаративистское предприятие: «разрабатывается модель контрастивного анализа и дается системное описание паритетных лингвокультурологических полей «национальная личность» на примере двух языков и культур (русский/русская – французский/французская) и выявляется их национальная специфика» [17, с. 6]. Автор вводит понятие «русской национальной личности» и считает, что «для выявления фундаментальных особенностей русской национальной личности необходимо определить конкретный набор ценностей, носителем которых оказался русский народ, и сопоставить этот набор с ценностями других народов» [17, с. 110]. Сопоставление осуществляется, в частности, таким образом: «Искание добра, истины и красоты имеют своим отрицанием невнимание к личности, к собственным корыстным интересам, выгоде, к личной жизни, благосостоянию, что является столь характерным для представителей других национальностей. Во всяком случае, эта черта является сильно редуцированной в русском национальном характере» [17, с. 112]. Как можно убедиться, вопрос о причине констатируемой культурной особенности автором не ставится. Обращение к историческим сведениям позволяет предположить, что упомянутое «невнимание к личности, к собственным корыстным интересам, выгоде, к личной жизни, благосостоянию» обусловлены перманентной исторической бедностью подавляющего большинства русских людей, отсутствием в их жизни имущественных отношений [7]: нет потребности думать о своих корысти и благосостоянии при отсутствии таких отношений, тем более когда подавляющее большинство русских людей до 1861 года сами представляли собой имущество. Как можно убедиться, необращение внимания на такую причину констатируемого автором явления позволяет неверно полагать, что невнимание к личной выгоде

является у русских изначальным нравственно позитивным душевным свойством. Следовательно, необращение внимания на причину существования культурного явления может обуславливать неверность вывода, следующего из простой констатации, в данном случае констатации лингвокультурологической.

Е. И. Зиновьева и Е. Е. Юрков в своем пособии по лингвокультурологии в числе прочего предлагают интересную компаративистскую констатацию обозначения страха существительными и глаголами русского и корейского языков [18, с. 58–64]. В данном случае корейские единицы, в отличие от русских, обладают большей и синтаксически самодостаточной (не требующей синтаксической поддержки) образностью: «яркой образной внутренней формой». «Например, выражают сильный испуг до состояния, когда человек затаивает дыхание или же непроизвольно издает звук; сильный испуг до потери сознания; внезапный испуг или страх до такой степени, что перехватывает дыхание; ощущение чувства страха до степени, когда кажется, что дух выходит из тела» [18, с. 60–61]. Очевидно, такое детальное обозначение страха в корейском языке авторы и считают лингвокультурологической особенностью, хотя в данной презентации полностью отсутствует собственно культурный компонент констатации, поскольку она сводится лишь к фиксации межъязыковой интерференции. Постановка вопроса о причине такой межъязыковой интерференции и, как следствие, причине соответствующей, не представленной авторами особенности корейской культуры, по нашему убеждению, для любого ориентированного на познание человека неизбежна. Даже с учетом того что данное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности «русский язык как иностранный» [18, с. 6], невозможно отрицать, что материал, демонстрирующий объяснение причин презентуемых явлений, усваивается гораздо лучше материала, констатирующего лишь существование этих явлений. Итак, хорошо известно, что в Юго-Восточной Азии многие языки являются изолирующими, то есть языками со словачкорнями, более всего приспособленными к иероглифической письменности, при почти полном отсутствии традиционных для флективных или агглютинативных языков грам-

матических показателей. Корейский язык тоже считается изолирующим, хотя и с тенденцией к развитию флективности (ученые фиксируют в корейском языке постепенное развитие падежной системы, что для изолирующих языков крайне необычно, по причине чего ряд исследователей относят этот язык к алтайской языковой семье). Как известно, иероглифическая письменность, многие века царившая в корейских государствах, по своей сути есть прямой потомок наскальной живописи, демонстрирующей синкретичные, правополушарные образы как первые опыты однонаправленной (недиалогической) письменной коммуникации. Именно эти синкретичные образы являются культурной особенностью носителей изолирующих языков, пользующихся иероглифической письменностью. В полном соответствии с гипотезой лингвистической относительности иероглифы тормозят эволюцию восприятия, оставляя его на уровне синкретизма (подробнее об этом – немного ниже). По нашему убеждению, можно говорить о том, что противники и сторонники гипотезы лингвистической относительности, или гипотезы Сэпира – Уорфа, видят качественно разные вещи. Первые справедливо замечают бессилие человека, по крайней мере быстро, номинировать новые понятия: понятие есть, а соответствующего слова еще нет (хорошо известно, что такие номинативные затруднения испытывают современные эскимосы и саами, когда, вернувшись с охоты, не могут рассказать, каких они видели новых животных, мигрировавших с юга по причине глобального потепления). Вторые обращают внимание на явления, происходящие в сознании людей под влиянием специфики их языка, то есть явления, наблюдаемые в качественно иной ситуации: в ситуации, когда номинации уже существуют. Если не абсолютизировать мнение Б. Л. Уорфа о том, что язык всегда и везде формирует мышление, то, по-видимому, корректно говорить о том, что влияние языка на мышление есть явление вторичное по отношению к языковой номинации и в целом инертное: уже сформировавшиеся явления языковой структуры, проникая в функционирующее параллельно мышление, обуславливают соответствующие мыслительные явления, как это убедительно продемонстрировано в статье М. В. Рубец на материале китайского языка: познающие новые явления и

формирующие соответствующие понятия носители китайского языка не могут создавать для этих понятий новые графические знаки, поскольку иероглифика не располагает ни буквами, ни, соответственно, аффиксами, а буквенно-диакритическая запись китайских слов – пиньинь – лишь повторяет фонетику иероглифа, по сути являясь его транскрипцией, поэтому указанные новые понятия закрепляются за уже существующими иероглифами при частотном отсутствии для этого семантических оснований, что приводит к большой омонимии китайских иероглифов [14]. О «грамматических издержках» в языках достаточно решительно заявляет Е. Я. Режабек: «...формально-грамматические показатели в ряде случаев характеризуются инерционностью, и тогда устаревающие грамматические формы способны задерживать желательные для культуры перестройки сознания. Грамматический строй языка может быть и ускорителем, и тормозом когнитивных процессов» [13, с. 300]. Как известно, носители корейского языка еще в XV веке параллельно с иероглифическим начали употреблять письмо алфавитное, а к XX веку иероглифы употреблять перестали, но очевидно и то, что на лексическом уровне иероглифический синкретизм сохраняется (об этом свидетельствует и громоздкая детальность описаний страха, свойственная всем ранним формам языков), и именно он является культурной особенностью, повлиявшей на современное состояние корейского языка, в том числе обусловившей показанную специфику обозначающих страх существительных и глаголов.

А. Вежбицкая со свойственным ей изяществом собственно лингвистической аргументации весьма убедительно доказывает, что применяемый Цицероном латинский концепт *libertas* означает «делать, что хочешь», в то время как английский концепт *freedom* имеет вдвое больший понятийный объем: «делать, что хочешь, и не делать, чего не хочешь» [15, с. 220]. Однако автор не объясняет, почему английский концепт состоялся именно в таком понятийном объеме. По всей видимости, значение «не делать, чего не хочешь» является логично производным – отрицательным по кванторному принципу существования «есть/нет» – от утвердительно-го «делать, что хочешь». Прийти к представлению квантора существования в таком пол-

ном виде можно лишь при развитом абстрактном мышлении, которое у позже сформировавшихся как этнос англичан выглядит закономерно солиднее, чем у живших столетиями раньше римлян, которые, проявляя в этом вопросе поверхностное восприятие, видели лишь одну – ближайшую – возможность свободы: утвердительную. Нет сомнений в том, что прийти к абстрактности мышления высокого уровня можно только при условии достижения уровня альтернативности восприятия, ведь, чтобы осознать альтернативу, нужно уметь отвлечься (абстрагироваться) от того, что раньше поверхностно воспринималось как единственное. Показанные уровни абстрактности мышления и являются культурными особенностями англичан и римлян, повлиявшими на объемы понятий свободы, которые отразились в значениях концептов *freedom* и *libertas*.

Разные уровни абстрактности мышления как культурные особенности носителей языков, в них отражающиеся, можно видеть при сопоставлении аналогичных явлений разных языков. Например, русской фразе *Ребенок подползал к краю обрыва* во французском языке соответствует системный перевод *L'enfant rampait jusqu'au bord de la pic*. Однако *Змея подползла к своей норе* переводится на французский язык как *Le serpent s'est approché de son trou*, где французский глагол является эквивалентом русского глагола *приблизилась*; *Он пишет стихи* переводится на французский язык как *Il fait des vers*, где французский глагол является эквивалентом русского глагола *делает*. С точки зрения франкофона, информация о том, что ребенок *подползал*, выглядит коммуникативно востребованной, поскольку она является уточняющей, ведь ребенок к краю обрыва мог *подходить* или *подбегать*. Но информация о том, что змея к норе *подползает*, а стихи *пишутся*, для носителя французского языка избыточна, логически противоречива, поскольку понятно, что змея только *ползает*, а не, например, *бегает* или *ходит*, а стихи, как правило, *пишутся*, а не *рисуются* или *выцарапываются* на стене острым предметом.

Здесь, в ходе рассуждений об уровнях абстрактности мышления как культурной особенности, влияющей на языковые явления, уместно вспомнить и том, как и почему в русском языке, как, впрочем, и в большинстве

славянских языков, не состоялась категория артикля. Вплоть до XVII века в северных русских говорах намечался постпозитивный определенный артикль, который мог развиваться из указательного местоимения так, как это произошло в болгарском и македонском языках. В артиклевых языках, например греческом, германских, романских, восточных южнославянских, тюркских, артикли появлялись потому, что у носителей языка возникала коммуникативная потребность в универсальном различении конкретности и абстрактности при существительных, а в ряде языков, например древненемецком, современных скандинавских (наряду с появившимися позже артиклями), западных южнославянских, эту различительную функцию выполняют полные и краткие прилагательные, в то время как в русском языке они выполняют лишь синтаксические функции (подробнее об этом [11]). Однако с XVII века в северных русских говорах это указательное постпозитивное местоимение перестало употребляться только при существительных – так появилась частица *-то* при различных частях речи, например (пример искусственный, намеренно, для наглядности утрированный) *Он-то вчера-то нарядный-то какой-то пришел-то*. Как верно заметил Л. П. Якубинский, в истории русского языка «категория определенного члена *t, ta, to* не получила развития, осталась в зародыше, и в современных диалектах мы имеем ее полное разложение» [6, с. 197]. Следовательно, с позиций лингвокультурологии, отсутствие в русском языке артиклей и возможности различения конкретности и абстрактности соответственно полными и краткими прилагательными является следствием такой культурной особенности, как отсутствие коммуникативной потребности в универсальном средстве различения конкретности и абстрактности, что, по всей видимости, обусловлено относительно небольшим – в сравнении с носителями артиклевых языков (см. выше) – уровнем абстрактности мышления в критически важный для грамматических изменений период (как известно, еще В. фон Гумбольдт обращал внимание на то, что в эволюциях языков существуют периоды, критически важные для достаточно быстро происходящих грамматических изменений, которые оканчиваются, когда грамма-

тические системы в целом становятся самодостаточными для поддержания коммуникации и хранения знаний, после чего грамматика меняются значительно медленнее лексика).

М. К. Головановская, проработав большое количество первоисточников, показывает различия между славянскими, в частности русскими, представлениями о Судьбе и романскими, в частности французскими, представлениями о Судьбе и Фортуне, обращаясь к мифическим презентациям их как влияющих на жизнь человека существ:

«Суд (Усуд) – существо, управляющее судьбой. ... Суденицы – мифические существа женского пола, три сестры входят в дом при рождении ребенка. Младшей – 20 лет, старшей 30-35 лет. Они бессмертны, приходят издалека в полночь на третий или пятый день после рождения ребенка в его дом, чтобы наречь ему его судьбу. Суд делает сначала старшая, обрекающая ребенка на смерть, затем средняя, предрекающая ему физические недостатки, и затем младшая, самая милостивая, определяющая, сколько ребенку жить, когда идти к венцу и с чем в жизни столкнуться. Считалось, что они писали судьбу ребенку на лбу, что делает понятным выражение «так ему на роду написано»...» [5, с. 82–83].

Автор обобщает важнейшие особенности славянских представлений о Судьбе:

«1. Судьба определяется путем устной дискуссии и затем записывается на лбу человека. Суденицы разговаривают, в отличие от древнегреческих парок, совершающих свое дело в полном молчании.

2. Определяющие судьбу суденицы, злая, не очень злая и добрая, вступают в конфликт, но именно последнее слово оказывается решающим.

3. Сказанное ими не может быть изменено.

4. Отдельно рассматривается вопрос о богатстве и бедности человека, который решается по прихоти Усуда» [5, с. 83].

В отношении романских представлений о Судьбе (Провидении) и Фортуне автор фиксирует следующее:

«В средневековой иконологии (I, Cd) мы находим следующие описания и соответствующие изображения Провидения и Фортуны:

1. «Провидение – женщина с двумя головами, как у двуликого Януса. На одной голове – венок из колосьев, на другой – из виноградных ветвей и кистей. В одной руке она держит два ключа, в другой руль. Поскольку ни один благоразумный человек не может существовать без знания прошлого и будущего, эта фигура изображается с двумя головами. Ключи символизируют недостаточность осязания вещей и подчеркивают необходимость рассуждать. Рассуждения – ключи, помогающие отпереть лабиринты человеческой жизни, преисполненной трудностями. Руль, используемый на кораблях, показывает что провидение способно управлять событиями, чтобы помочь достичь богатства и славы, а также и спасти жизнь. Провидение вращает руль, управляя нами и нашими надеждами».

2. «Фортуна представляется в виде женщины с завязанными глазами, парящей над деревом жизни и сбивающей с него длинной палкой принадлежности и символы различных ремесел: орудия, оружие, книги, венцы и пр. Так изображаются Дары. Действия ее связаны со звездами, определяющими склонности человека и направляющими через его чувства его разум. Она изображается слепой, чтобы подчеркнуть, что она не благоприятствует никому в отдельности, она всех в равной степени любит и ненавидит, проявляясь через возможности, которые ей предоставляет случай. Это показывает, что следует простому народу идти только за правдой, которой располагает божественное провидение».

Вот еще одно изображение Судьбы, содержащееся в книге Чезаре Рипа:

3. «Женщина с небесной сферой на голове или стоящая на колесе времени и держащая в руке рог изобилия. Сфера или колесо времени показывают, что она находится в постоянном движении и к каждому по очереди поворачивается лицом, возвышая или унижая человека. Она распределяет блага из рога изобилия, но поскольку все время движется, то и блага постоянно переходят из рук в руки» (I).

Проанализируем эти описания.

1. Оба аллегорических персонажа – женского пола.

2. Оба персонажа действуют при помощи дополнительных инструментов (ключи, рог изобилия, колесо, руль, палка).

3. Области их действия не пересекаются.

4. Персонажи, олицетворяющие эти понятия, намекают человеку, как ему следует себя вести в отношении своей судьбы: знай прошлое, думай о будущем, рассуждай.

5. Провидение и французская судьба наделены богатствами: у них есть колосья, виноградные ветви, рог изобилия, дары – символы ремесел. Эти высшие «предопределители» жизни подсказывают человеку, как ему преуспеть.

6. Все люди равны, судьба никому не подыгрывает. Она или слепа, или равномерно вращается на колесе времени, поворачиваясь лицом к каждому» [5, с. 89–91].

Можно не соглашаться с Гегелем, который, по мнению многих исследователей – дискриминационно, разделял человечество на три мира, разные по уровням культурного развития, – германский, романский и восточный (именно в восточный мир включается, по Гегелю, мир славянский), – но применение к сведению М. К. Голованивской показанной выше схемы степеней восприятия вынуждает признать относительную правоту этого философа. В славянских представлениях о судьбе мы видим перцептивный синкретизм, проявляющийся в таких достаточно хаотичных явлениях, как спор, конфликт, невозможность изменить предначертанное как невосприятие альтернативы, и перцептивную поверхностность, проявляющуюся в том, что решающим является последнее слово, то есть наиболее близкое к концу действия (как известно, в первобытном споре или цивилизованном детском споре победившим считается сказавший последнее слово), а вопрос о богатстве и бедности решается по прихоти (а не согласно какой-то логике). Кроме того, в описании действия много детально-буквального, свидетельствующего о слабом развитии абстрактности мышления: суденицы разговаривают, а не, как греческие парки, молчат (что свидетельствовало бы об их мудрости), а судьба буквально записывается прямо на лбу. В романских представлениях о Судьбе (Провидении) и Фортуне мы видим перцептивную альтернативность: это альтернатива двух голов как символов альтернативы земледелия и виноградарства, у персонажей есть дополнительные – альтернативные – инструменты («ключи, рог изобилия, колесо, руль,

палка»), каждый из которых что-то символизирует, наблюдается непересечение областей действий этих персонажей (как уважение к альтернативе отсутствует синкретичный хаос этих действий, наблюдаемый в славянских представлениях), персонажи призывают человека к восприятию и аргументированному осмыслению альтернатив («знай прошлое, думай о будущем, рассуждай»), символы богатства тоже призваны демонстрировать человеку стимулирующие его альтернативы, которые «подсказывают человеку, как ему преуспеть», и, наконец, апофеоз альтернативности восприятия, призывающий к самостоятельности принятия решений о ведущих к успеху действиях, заключенный в не требующих комментариев словах: «Все люди равны, судьба никому не подыгрывает. Она или слепа, или равномерно вращается на колесе времени, поворачиваясь лицом к каждому». Именно эти, показанные выше перцептивные уровни являются культурными особенностями, повлиявшими на формирование лингвокультурологических концептов судьбы в славянских и романских языках.

Применение схемы степеней восприятия для объяснения культурных особенностей, влияющих на семантику языковых единиц, возможны и во многих других случаях.

Очевидно, при необходимости обозначить словом новое понятие проще всего, руководствуясь поверхностным восприятием, заимствовать готовое слово, чтобы не создавать новое в своем языке. Именно так в русском языке появилось заимствованное из немецкого слово *картофель*. Однако возможен и альтернативный путь, по которому пошли французы, чтобы обозначить это тоже новое для них понятие: *potmes de terre* (дословно *яблоки земли, или земляные яблоки*). С точки зрения ситуации первой номинации, это поверхностное восприятие яблока как случайно попавшего в поле зрения в чем сходного с картофелем предмета, на название которого может быть осуществлен метафорический перенос. Однако, с точки зрения развитости лексической системы языка, это выбор, альтернативный менее удачному для лексической системы выбору заимствования.

Как известно, в русском языке Нидерланды чаще всего называют *Голландией*. Это наблюдается со времен Петра Первого, побывавше-

го лишь в одной из двух Голландий (Северной и Южной, которые являются прибрежными провинциями Нидерландов) – Северной Голландии, но поверхностно счел, что название места, в котором он побывал, является названием всей страны (очевидно, синкретизм восприятия избавил его от размышлений о том, что если есть Голландия Северная, то где-то должна быть и Голландия Южная, что означало бы, что Южная Голландия – или другая страна, или не страна, а часть страны, имеющей в таком случае какое-то другое название). Как бы то ни было, сегодня проявленное Петром поверхностное восприятие является культурной особенностью, обуславливающей номинацию Нидерландов как *Голландии*.

Хорошо известно, как славяне номинировали *немцев* по внутренней форме слова *немой* только потому, что те при встречах со славянами отмалчивались. Причины молчания, представляющие собой культурную особенность, связанную с номинацией *немец*, на первый, поверхностный, взгляд, могли быть разными. Но в результате основанных на альтернативности восприятия размышлений становится понятным следующее. Менее вероятно, что немцы молчали от страха или потому, что были интровертами. Более вероятно, что они отмалчивались потому, что, слыша непонятный им язык, понимали бесперспективность попыток коммуникации (см. выше о говорливости славянских судениц и молчании древнегреческих парок при выполнении одного и того же ритуала). Понимание такой бесперспективности основывается на ее восприятии как менее удачной поведенческой альтернативы, чем альтернатива молчания (пример альтернативно-императивного восприятия).

Вернувшись в самом конце статьи к примеру, с которого она начиналась, а именно к слову *окно* и его внутренней форме *око*, заметим, что напрашивающегося объяснения поверхностным восприятием бросившегося в глаза метафорического сходства между окном и глазом недостаточно, поскольку неизвестной остается пространственная точка зрения на похожее на глаз окно, то есть неизвестно, от-

куда окно было зрительно воспринято как глаз – снаружи дома (и тогда это дом с глазом) или изнутри (и тогда это глаз в стене, который смотрит наружу и помогает туда смотреть человеку). Выяснение привативности этой альтернативной эпистемы представляет несомненный лингвокультурологический интерес.

ВЫВОДЫ

Традиционный объект лингвокультурологии – связь языка и культуры – А. А. Беляцкая предлагает расширить от антропоцентризма до антропокосмизма [4]. Это, безусловно, по своему логичный экстенсивный путь ее развития, путь обобщения, неизбежно следующего в процессе познания за дифференциацией, в данном случае за дифференциацией различных лингвокультур. Мы же предлагаем интенсифицировать лингвокультурологию поиском глубинного ее объекта – причин традиционно не объясняемых, а лишь констатируемых культурных явлений, обуславливающих специфику явлений языка. Объяснение этих причин позволяет качественнее представить связь языковых и культурных явлений, в том числе с точки зрения лингводидактики. Выяснение таких причин предполагает выход за пределы лингвистики в смежные с ней области знаний, что, во-первых, понятийно не отличается от обращения лингвистики к такой смежной с ней областью знаний, как культурология, а во-вторых, в рамках лингвоантропоцентрической парадигмы обращение лингвистики к сведениям других антропонаук считается одним из ведущих методологических принципов. Не объясняя причины культурных явлений, обуславливающих специфику явлений языковых, то есть лишь констатируя связи языка и культуры и довольно часто их не констатируя, а именно ограничиваясь констатацией межъязыковой интерференции, лингвокультурологи XXI века рискуют выглядеть первооткрывателями различий, которые наслаждаются ими так же, как коллекционеры наслаждаются разнообразием коллекционируемых ими предметов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES

1. Abaev, V. (1986). *Parerga 2. Jazykoznanie opisatelnoe i objasnitelnoe. O klassifikacii nauk* [Parerga 2. Linguistics is descriptive and explanatory. On the classification of sciences]. *Voprosy jazykoznanija*, 2, 27–39 (in Russian)
[Абаев, В. (1986). Parerga 2. Языкознание описательное и объяснительное. О классификации наук. *Вопросы языкознания*, 2, 27–39].
2. Alefirenko, N. (2010). *Lingvokul'turologija* [Lingvoculturology]. Moscow: Flinta (in Russian)
[Алефиренко, Н. (2010). *Лингвокультурология*. Москва: Флинта].
3. Aristotel'. (1978). *Sochinenija* [Works] (Vol. 2). Moscow: Mysl' (in Russian)
[Аристотель (1978). *Сочинения* (Т. 2). Москва: Мысль].
4. Beljackaja, A. (2013). *Antropocentrizm vs antropokosmizm: k probleme metoda v lingvokul'turologii* [Anthropocentrism vs anthropokosmism: on the problem of method in cultural linguistics]. *Jazyk i kul'tura*, 3(23), 5–23 (in Russian)
[Беляцкая, А. (2013). Антропоцентризм vs антропокосмизм: к проблеме метода в лингвокультурологии. *Язык и культура*, 3(23), 5–23].
5. Golovanivskaja, M. (2009). *Mental'nost' v zerkale jazyka. Nekotorye bazovye koncepty v predstavlenii francuzov i russskih* [Mentality in the mirror of the language. Some basic concepts in the view of the french and russian]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury (in Russian)
[Голованивская, М. (2009). *Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских*. Москва: Языки славянской культуры].
6. Jakubinskij, L. (1953). *Istorija drevnerusskogo jazyka* [History of the old russian language]. Moscow: Gos. uch.-ped. izd-vo Ministerstva prosveshhenija RSFSR (in Russian)
[Якубинский, Л. (1953). *История древнерусского языка*. Москва: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР].
7. Jepshtejn, M. (2007). *O tvorcheskom potenciale russkogo jazyka. Grammatika perehodnosti i tranzitivnoe obshhestvo* [On the creative potential of the Russian language. Grammar of Transitivity and Transitive Society]. *Znamja*, 3 (in Russian)
[Эпштейн, М. (2007). О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество. *Знамя*, 3].
8. Kibrik, A. (1992). *Oчерки po obshhim i prikladnym voprosam jazykoznanija* [Essays on general and applied questions of linguistics]. Moscow: Izdatel'stvo MGU (in Russian)
[Кибрик, А. (1992). *Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания*. Москва: Издательство МГУ].
9. Maslova, V. (2007). *Lingvokul'turologija* [Linguoculture] (3d ed.). Moscow: Akademija (in Russian)
[Маслова, В. (2007). *Лингвокультурология* (3-е изд.). Москва: Академия].
10. Popov, S. (2013). *Kognitivnye osnovanija jevoljucii form russkogo sintaksicheskogo soglasovanija* [Cognitive grounds for the evolution of the forms of Russian syntactic matching]. Kharkov: NTMT (in Russian)
[Попов, С. (2013). *Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования*. Харьков: НТМТ].
11. Popov, S. (2017). *Kognitivno-jevoljucionnoe issledovanie pojavlenija opredelennogo i neopredelennogo artiklej* [A Cognitive and Evolutionary Study of the Appearance of Definite and Indefinite Articles]. *Jezikoslovni zapiski*, 23(1), 225–240 (in Russian)
[Попов, С. (2017). Когнитивно-эволюционное исследование появления определенного и неопределенного артиклей. *Jezikoslovni zapiski*, 23(1), 225–240].
12. Potebnja, A. (2000). *Simvol i mif v narodnoj kul'ture* [Symbol and myth in popular culture]. Moscow: Labirint (in Russian)
[Потебня, А. (2000). *Символ и миф в народной культуре*. Москва: Лабиринт].

13. Rezhabek, E. (2007). *V poiskah racional'nosti (stat'i raznyh let)* [In search of rationality (articles of different years)]. Moscow: Akademicheskij Proekt (in Russian)
[Режабек, Е. (2007). *В поисках рациональности (статьи разных лет)*. Москва: Академический Проект].
14. Rubec, M. (2009). *Vlijanie kitajskogo jazyka na myshlenie i kul'turu ego nositelej* [The influence of the Chinese language on the thinking and culture of its speakers]. *Istorija filosofii*, 14, 111–122 (in Russian)
[Рубец, М. (2009). Влияние китайского языка на мышление и культуру его носителей. *История философии*, 14, 111–122].
15. Vezhbickaja, A. (2001). *Ponimanie kul'tur cherez posredstvo ključevyh slov* [Understanding cultures through key words]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury (in Russian)
[Вежбицкая, А. (2001). *Понимание культур через посредство ключевых слов*. Москва: Языки славянской культуры].
16. Vorkachev, S. (2001). *Lingvokul'turologija, jazykovaja lichnost': stanovlenie antropocentricheskoj paradigmy v jazykoznanii* [Linguoculturology, language personality: the formation of the anthropocentric paradigm in linguistics]. *Filologičeskie nauki*, 1, 64–72 (in Russian)
[Воркачев, С. (2001). Лингвокультурология, языковая личность: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании. *Филологические науки*, 1, 64–72].
17. Vorob'ev, V. (2006). *Lingvokul'turologija* [Lingvoculturology]. Moscow: RUDN (in Russian)
[Воробьев, В. (2006). *Лингвокультурология*. Москва: РУДН].
18. Zinov'eva, E., & Jurkov, E. (2009). *Lingvokul'turologija: teorija i praktika* [Linguoculturology: theory and practice]. Saint-Petersburg: Mirs (in Russian)
[Зиновьева, Е., & Юрков, Е. (2009). *Лингвокультурология: теория и практика*. Санкт-Петербург: Мирс].